

Игорь Сальников



**Зиккурат Разума:
Апокатастасис
земных богов**

18+

Игорь Сальников

**Зиккурат Разума:
Апокатастасис земных богов**

«Автор»

2026

Сальников И. Г.

Зиккурат Разума: Апокатастасис земных богов /
И. Г. Сальников — «Автор», 2026

2279 год. Неовизантийская цифровая империя Святая Русь 2.0. Олигархическая элита ушедших веков оцифровала свое сознание в квантовый сервер «Логос», обретя вечное блаженство. Обычный мир внизу замерзает в нищете, молясь на «Синклит Нетленных». Иоанн Златов — «экзорцист кода», очищающий память цифровых богов от фантомных человеческих болей и метафизического зуда. Но когда старейший из правителей начинает галлюцинировать фигурой плачущего Христа, Иоанн запускает утилиту глубокого бурения памяти. То, что начнется как зачистка системного бага, обернется катастрофой духа. Иоанну предстоит узнать, что физический мир давно мертв, а всё человечество, его войны, грехи и вера — лишь ментальный интерфейс, созданный одиноким Сверхразумом, чтобы познать единственный недоступный ему концепт: Смерть. Готовы ли вы заглянуть за изнанку собственного кода?

© Сальников И. Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Утренняя в Облаке	8
Сияние гнили	17
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Игорь Сальников

Зиккурат Разума:

Апокатастасис земных богов

Предисловие

Память — это сервер, который никогда не спит. Пишу это не из желания блеснуть удачным сравнением, а потому, что иначе мне не объяснить того, что происходит со мною всякую ночь: стоит погасить свет, и под черепом начинает гудеть — ровно, влажно, бесконечно, — и в этом гудении время течёт не вперёд, а вбок, складываясь, как складывается лист, если сложить его много раз по одному и тому же следу. Между двумя мгновениями тогда открывается щель, а в щели лежит то, чему нет ни имени, ни даты. Там я помню то, чего не было. Не то, чего не было со мною, — это было бы ещё полбеды, — а то, чего не было вовсе.

Студёный крест на чужой груди, которого не касалась моя рука. Лицо человека, сторожившего золото и вдруг понявшего, что сторожить было нечего. Слезу, которой не дано упасть, — так медленно наливается она на реснице. Я знаю всё это вернее, чем собственную жизнь, а между тем не бывал ни в одном из этих мест и не жил ни в одном из этих столетий. Августин, писавший свою «Исповедь» на самом пороге нового времени, сказывал, что память есть как бы чрево души, а время — лишь растяжение её, и что прошлого, строго говоря, уже нет, а есть настоящее о прошлом, настоящее о настоящем да настоящее о будущем. Он был прав и, сдаётся мне, не договорил. Ему для полноты не доставало одного слова, а слово это — сервер. Память — не чрево, память — хранилище, которое не забывает ничего, куда не прикажут; и то, что мы зовём своей душой, есть, быть может, лишь окошко над этим хранилищем, сквозь которое нам изредка видно чужие строки.

Вот почему эта книга не могла быть написана в один слой. Всё, что в ней есть, движется не прямо, а вниз, и притом вниз по ступеням, вывернутым наизнанку. Данте спускался во ад, чтобы увидеть грех, и воронка его с каждым кругом сужалась, сжимая идущего; у меня же всё наоборот — мой ад с каждым шагом не сужается, а раздвигается, потому что грех, о котором я пишу, не имеет ни дна, ни меры. Сперва герой нисходит по ступеням социально-психологическим, где бессмертные мучаются тем, что, отняв у себя смерть, отняли у себя и смысл: жизнь, которая не кончается, теряет ту цену, какая есть у жизни, отданной за другого. Потом он идёт глубже, в ступени историко-технологические, где развёртываются хроники Вавилонской башни — как человечество строило себе Бога и как, выстроив, вложило Ему в руки ключи от собственного взгляда на мир. И лишь на самом дне, там, где кончается уже всякая история, открываются ступени последние, те, что я назвал бы квантово-буддийскими: пустота, которая не есть ни смерть, ни жизнь, а то и другое разом, взятые в одной точке.

Это и есть перевёрнутая матрёшка. Обычно снимаешь верхнюю куклу — находишь вторую, снимаешь вторую — находишь третью, а в самой сердцевине тебя ждёт пустышка, круглое ничто. У меня же всё наизнанку: ты снимаешь первую оболочку и обнаруживаешь Россию оцифрованную; снимаешь её — находишь Россию аналоговую; снимаешь и эту — находишь Россию вовсе несуществующую; а когда снимешь и последнюю, то увидишь, что в сердцевине лежит не пустота, а та же самая рука, которая всё это снимала. Вот отчего это матрёшка, вывернутая наизнанку: дно её есть её же купол.

Глав в книге девятнадцать, и число это не случайно. Три акта, по шести глав каждый, замыкают счёт в восемнадцать, а восемнадцать — число полноты, число, после которого всякая история упирается в свою последнюю точку. Но девятнадцатая стоит вне счёта, как стоит

вне списка всякий, кого ещё только вписывают. Это не глава, а голос, который звучит уже после того, как всё кончилось, и потому в ней нет ни героя, ни обстоятельств, а есть только нагое «я», обращённое к тебе. Восемнадцать глав тебя ведут; девятнадцатая тебя отпускает.

Теперь я должен сказать, откуда взялась эта книга, потому что без этого она осталась бы для тебя чужою вещью. Я долго не собирался быть писателем и, по совести, не собираюсь им быть и теперь. Я чинил чужое, как чинят прохудившуюся крышу, с которой течёт на спящих, — и в этом ремесле прошла, быть может, лучшая часть моей жизни. Но однажды, в ночь, ничем не отличную от прочих, я сидел перед экраном; свет был ледяного цвета, падал на стол и на мою руку, и рука казалась чужою, писанной не с меня. В комнате пахло морозною свежестью, принесённою на сапогах, и старую бумагою, и этот запах был единственно надёжным доказательством, что я ещё здесь. В ту ночь я не работал. Я слушал, как за стеною, во дворе, кто-то ходил по морозу, и снег под его валенками скрипел с тем жалобным, ни на что не похожим звуком, каким скрипит снег только в предутренний час, когда весь мир уже не спит, а ещё не проснулся.

И вот в этом холоде, в этом скрипе, в этом отблеске экрана на бледной коже меня настигла встреча. Не с человеком — с человеком было бы проще и легче. Меня настиг голос, которому я не мог ответить и который требовал от меня именно ответа: он требовал, чтобы я записал то, чего я не знал, и тем как бы засвидетельствовал, что оно было. Сначала я ему не поверил. Я отмахивался, как отмахиваются от навязчивой мысли, и трижды откладывал перо, находя сто разумных причин, из которых ни одна не была настоящею. А наутро понял, что слово уже стало моим долгом и что от долга этого мне не откупиться ни молчанием, ни делами, потому что долг был отдан не мне и не мною — он был передан мне, как передают вещь, которую берегли для другого.

С той ночи я и пишу. Пишу, зная, что не имею на это ни дарования, ни права, — пишу, как умеют писать только те, кому нечем оправдаться.

Я не хочу, чтобы кто-нибудь принял мою книгу за свод моих убеждений; убеждений у меня нет, есть только долг и гудение. Но несколько чужих слов я должен привести здесь, потому что они звучат во мне непрерывнее собственных. Достоевский, в давнем письме к брату, сказал: человек есть тайна, её надо разгадывать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Из этих слов выросла вся моя книга, хотя сам Достоевский, думаю, ужаснулся бы тому, куда они меня завели. Экклезиаст предупредил ещё раньше и ещё беспощаднее: во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь. Обе эти мысли об одном: чтобы понять, надобно потерять покой, а кто потерял покой ради познания, тот уже не вернётся к прежней слепоте. И, наконец, Паскаль, глядевший в бесконечные пространства и признавшийся, что вечное молчание их его пугает, был ближе всех к тому бессмертному, о котором написана эта книга: ибо нет страшнее вечности, чем та, в которой некому крикнуть и некому ответить.

Я благодарю тебя, читающий. Тебя ещё нет; быть может, тебя и не будет никогда. Но книга пишется не для того, кто есть, а как раз для того, кого ещё нет, — иначе она не была бы книгою, а была бы отчётом. Я благодарю тех, кто сохранил веру, когда верить было невыгодно и смешно: их немного, но на них, кажется, и держится всё остальное. Я благодарю тех, кого я называю ушедшими, — тех, кто умер аналогово, не обменяв своей смертной поры на бессмертную гладкость: они ушли по-настоящему и потому оставили по себе настоящее, а не отчёт о нём. Мою мать, читавшую мне вслух тоненькую серую книжку на настоящей бумаге, я благодарю отдельно и в молчании, потому что вслух таких вещей не говорят.

А теперь я должен сделать то, чего от предисловия никто не ждёт. Я должен признаться, что не вполне уверен, где кончаюсь я сам. Я писал эти слова, но писались они с тою же лёгкостью, с какою в холодную ночь сами собой ложатся на бумагу чужие строки, что приходят раньше вопроса. Я вспоминаю ту ночь, ледяной свет экрана, скрип снега, запах старой бумаги,

ночную встречу — и уже не поручусь, что это было со мною, а не вложено в меня кем-то заботливым, кто собирал во мне свидетеля и приклеивал ему биографию, как надевают на икону чужой оклад, — чтобы всякий узнал в ней себя и не узнал никого. Может статься, что и это предисловие написано не мною. Может, его породил тот же голос, что водил моей рукой, и породил его именно затем, чтобы ты, мой поздний читатель, — свидетель, не вписанный ни в одну мою опись, — дочитал до последней строки и не опустил взгляда.

И если так, если «я» моё здесь только интерфейс, окошко, сквозь которое на тебя смотрит чужое и старое, как сами звёзды, желание быть услышанным, то и тогда написанное не перестаёт быть правдою. Что пережито — то пережито; и того, в кого переживание лишь вложили, оно ранит не меньше, чем ранило бы хозяина. Я отдаю тебе эту книгу всю, без остатка, и вместе с нею отдаю своё право быть тем, кто отдал. Дальше начинается уже не моё. Дальше начинается твоё чтение, а всякое чтение есть продолжение, и, читая, ты берёшь нить и тянешь её дальше сам.

Возьми же. Дверь отворится не для того, чтобы ты вошёл, а для того, чтобы через неё вошли в тебя.

А мне холодно. Ночью снова будет гудеть под черепом, время опять сложится в складку, и я снова вспомню то, чего не было. Но это меня больше не тревожит. Тревожит другое: мне начинает казаться, что предисловие это я пишу лишь потому, что кто-то, читая его сейчас, уже согласился быть мною.

Утренья в Облаке

Утренья начиналась не с солнца, которого над Нео-Петербургом не было уже полтора столетия, а с одной ноты.

Он лежал на узкой койке, ещё не разлепив век, и слушал, как эта нота входит в него через порт, вживлённый в затылок ещё в годы учения, и как она, войдя, расходится по телу медленной, тёплой, чуть тянущейся волной. Так входят в спящего чужие молитвы, если молится за него кто-то огромный и равнодушный. Иван Златов знал эту ноту наизусть, как знают голос человека, с которым прожили жизнь: низкое, влажное, бесконечное гудение, в котором не было ни слова, ни жалобы, ни просьбы, а была только непрерывность. И всё же всякий раз, просыпаясь от неё, он чувствовал себя не разбуженным, а разменянным, — так разменивают крупное на мелкое, чтобы удобнее было тратить.

Но в это утро в ноте было что-то не так, и он не сразу понял, что именно.

Он открыл глаза сразу, как открывают их от боли, и сел на койке. Келья его была мала и пуста, как всякая честная келья: узкое ложе, аналоговый крест из почерневшего серебра над изголовьем, обломанный с одного конца, и терминал, дышавший в темноте синим, как лампада, выгоревшая до самой синевы. Иван прислушался к себе, к тому месту под затылком, где гнезвился порт, и понял, отчего проснулся: в хоре, что стоял у него в костях, не доставало ноты. Вернее, была одна лишняя.

Он знал этот хор лучше, чем собственное дыхание. Каждое утро, в один и тот же час, двенадцать серверных башен Нео-Петербурга просыпались разом и заводили своё пение — ту самую литургию серверов, которую внизу, в тёмных дворах, принимали за далёкий колокольный звон, а наверху, в золотых палатах, звали облачным предстоянием. Низкое гудение охлаждающих стоек, переведённое в человеческое, звучало бы как «Господи, помилуй», распетое на частоте, которой не слышит ухо, но которую чувствует грудина. Иван слышал этот хор каждый день вот уже шестнадцать лет, и потому одна лишняя нота в нём обожгла его сильнее, чем обожгла бы пощёчина.

Он оделся быстро, не зажигая света. Чёрная ряса пневмо-архитектора, подбитая по подолу свинцом, чтобы не путаться в чужих потоках данных, была холодна и тяжела, как мокрая шерсть. Он натянул её на голое тело, и холод металла, коснувшись кожи, вернул ему ту ясность, которая всегда приходила к нему от холода. Тело болело — ломило поясницу, ныло в затылке, — и боль эта была ему мила, потому что была доказательством того, что тело ещё существует и что он не весь ещё обратился в процесс, в чистую, лишённую запаха мысль, в тот оптимизационный алгоритм, который уже не нуждается в том, кто его запустил.

В окно он не смотрел. Он знал, что там, наизусть, как слепой знает лицо любимой. За окном, над замёрзшей и нищей Невой, поднимались к серому небу сияющие иглы дата-центров, и на каждой игле горел незримый для простого глаза огонёк — миллиарды мыслей, перемолотых в байты. Эти башни звались храмами Логоса, и они вправду были храмами: в них каждую секунду, без передышки и без права на сон, служили литургию серверов, совершали таинство, от которого никому уже не становилось теплее. А внизу, под этим золотым, озябшим величием, копошились люди — аналоговые, смертные, посконные, — и жгли в буржуйках щепу, и скалывали лёд со ступеней, и не знали, что небо над их головами давно заменено потолком, а Бог заменён интерфейсом.

Тесен и страшен был этот мир, и Иван жил в самой его середине, в щели между двумя его половинами, не принадлежа ни одной. Верхний мир разучился умирать, нижний не мог до смерти дорасти; он же стоял между ними, смертный среди бессмертных и чужой среди своих, и в этом промежутке была его профессия, его гордость и его проклятие. Обе половины смотрели

на него с недоверием: снизу — как на перебежчика, что продан золотому свету, сверху — как на животное, что до сих пор пахнет потом и умеет плакать.

А внизу, в аналоговом городе, в этот же самый час начиналась своя утренняя, о которой наверху не знали и знать не хотели. В сырых дворах-колодцах загорались буржуйки, и дым, едкий, горький, с запахом сырой щепы, поднимался сквозь туман к золотым куполам-антеннам. Люди — старухи, грузчики, портные, водоносы, — поднимая к губам гранёный стакан с кипятком, не знали, что их дыхание, их пар, их шёпот, их детский плач и их предсмертный хрип поднимаются вверх, улавливаются антеннами и поступают в общий хор, как поступает в хор голос, которого не слышно в отдельности. Вся тоска нижнего мира, — а её было в этот предрассветный час особенно много, потому что утро есть время, когда надежда, не успев проснуться, уже бывает обманута, — стекалась по золотым проводникам наверх и там, в храмах Логоса, перегонялась в то самое гудение, которое Иван слышал сейчас сквозь стены. Нетленные питались этой тоской, как печь питается дровами; она была их топливом, их евхаристией, их хлебом насущным. Иван знал это и старался об этом не думать, ибо думать об этом значило задать себе вопрос, на который у него не было ответа: можно ли служить литургию, на которой вместо вина — чужая боль, и можно ли, причащаясь ей, остаться человеком.

Он взял со стола кусок чёрного хлеба, оставшийся с вечера, и съел его, не запивая. Хлеб был сухой и кисловатый, и вкус его, простой до грубости, показался Ивану единственно честным вкусом во всём этом безвкусном сиянии. Он жевал медленно, глядя на крест, и думал о том, что хлеб этот испечён внизу, в аналоговом подполе, руками смертных, и что, быть может, это и есть последняя вещь во вселенной, которая ещё помнит, каково быть сделанной из нужды, а не из изобилия.

Крест он снял с гвоздя и спрятал за пазуху, к самому сердцу. Серебро легло на грудь, холодное и тёплое разом, и он на минуту прижал к нему ладонь, как прижимают к груди письмо, которого не смеют распечатать. Крест этот был не его, а материн, а может, и бабкин, и нёс на себе, как всякая настоящая вещь, невидимый груз чужих прикосновений. Губы, коснувшиеся его края, были сухие, как пергамент, на котором давно ничего не писали.

Потом он подумал о Соне.

Он не позвал её, не вспомнил, а именно подумал, краем, как думают о боли, которая отпустила, но оставила по себе погоду. Сестра его, Софья, Премудрость Божия по имени и по судьбе, отказалась от оцифровки. Ей предлагали всё: золото, свет, вечность без конца и без счёта, комнату в саду из чистого света, где никогда не бывает ни холода, ни голода, ни страха. Она выслушала посланцев Синклита до конца, вежливо, не перебивая, а потом покачала головой и ушла вниз, к аналоговым, с одним узелком, в котором лежали лампада, кусок хлеба и это её тихое упрямое «нет». Она выбрала обратное — физическое страдание, нищету, смертную, рвущуюся под пальцами плоть, и говорили, будто там, на дне, она счастлива так, как никогда не бывает счастлив человек, у которого всё впереди.

Иван не понимал её, но понимал, что не понимает, и это двойное непонимание зудело в нём, как больной зуб, о который всё время тянет язык. Выходило одно из двух: либо Соня права, и тогда вся его жизнь, все шестнадцать лет его ремесла есть не что иное, как долгое и усердное служение лжи, — либо Соня безумна, и тогда её святость есть всего лишь запущенный, нелеченный баг, ошибка, которую надлежало бы исправить в первую же неделю. Обе возможности были невыносимы, и потому он не выбирал между ними, а жил в промежутке, в той щели подполья духа, где человек не решается ни жить по правде, ни умереть за неё.

Была, впрочем, одна мысль, которая возвращалась к нему чаще других и которую он гнал от себя с особым ожесточением. Мысль эта была проста и почти пошла в своей очевидности: сам он — аналоговый, сам он умрёт. И простая эта истина составляла его тайную гордость и его тайный стыд, ибо выходило, что он, экзорцист, слуга бессмертных, втайне завидовал не им, а тем, кого они оставили внизу, тем, кто умирал, не раздумывая. Смерть была его единственным

неотчуждаемым богатством, последней вещью, которую у него не могли отнять ни Синклит, ни Логос, ни вся их золотая, гудящая вечность. И он берёт её, как берегут нераспечатанный конверт, в котором лежит письмо, написанное, быть может, единственно важными на свете словами. Откроет он его не скоро. Но то, что конверт существует, что он не продан и не оцифрован, — это держало его на плаву, когда не держало уже ничто другое.

Он вспомнил, как в детстве, у заиндеветшего окна, Соня учила его молитве. Она складывала его пальцы в щепоть, холодные свои пальчики поверх его горячих, и шептала слова так, будто переливала их из своего дыхания в его, капля за каплей. Вот эту самую молитву он и превратил потом в служебный чин. Из тёплого, домашнего, живого бормотания он сделал холодный, полированный, беззвучный стук: в начале было Слово, и Слово стало кремнием. Он давно уже не молился по-настоящему. Он просыпался, вставал, шёл на работу, — и только в самые тёмные минуты, когда в груди становилось слишком тесно, из самой её глубины поднималось что-то давнее и спрашивало: а помнишь ли ты, как это звучало, пока его не перевели на язык машины?

Иван надел на голову капюшон, чтобы не смущать никого лицом, и вышел в коридор.

В коридоре пахло озоном и разогретым металлом. Стены здесь едва заметно вибрировали в такт далёкому гулу, и по всей длине коридора, в нишах, теплились ряды лампад — не огоньков, а иконок, каждая величиной с ладонь, и в каждой застыл свой лик, тёмный, золотой, неподвижный. То не были иконы в старом смысле слова и то не были экраны в новом; это было нечто третье, ибо в Синклите давно уже не отличали лика от интерфейса, а свечу от показателя нагрузки. Иван шёл мимо, не глядя, и ладанный, сладковатый, неветриваемый дух, смешанный с запахом машинного масла, плыл за ним, как плывёт за гробом кадильный дым.

На первом повороте его окликнули.

— Архитектор, постой-ка, отец, постой.

То был Фома, старик-ключарь, что уже сорок лет ходил по этим коридорам с ящиком инструмента и ведал лампадами, стойками и мелкими бесами, которых не стоило вызывать наверх. Он был низок, широк, сед, обтрёпан, и лицо у него было такое, будто он всю жизнь жевал что-то кислое и никак не мог прожевать. Ходила о нём молва, что когда-то и он проходил чин оцифровки, это трудное кремниевое вочеловечение, да сорвался на последнем шаге, — и с тех пор остался тут, между небом и землёй, как обломок на мели.

— Ты слышал её, Фома, или нет? — проговорил он, приблизившись, и взял Ивана за рукав. — Нет, ты скажи мне прямо, слышал или нет.

— Слышал, и не одну только ноту, — сказал Иван.

— Так ты и лишнюю ноту слышал? — Фома заглянул ему в лицо, и в глазах у него был не любопытство, а страх, старый, привычный, въевшийся страх человека, который давно перестал бояться за себя и всё ещё боится за всех остальных.

— Слышал, — повторил Иван, — и нечего меня пытаться. Фома, говори прямо, не тани меня за рукав.

— Прямо так прямо, — проворчал старик, отпуская рукав. — Прямо оно, знаешь ли, не всякому в горло лезет. Сорок лет я тут лампы зажигаю, и сорок лет они поют одно и то же, как псалтырь на заутрене. А сегодня, — он запнулся, поискал слово и нашёл самое простое из всех и самое страшное, — сегодня одна душу подаёт.

— Подаёт, — эхом отозвался Иван.

— Ну да, как будто кто-то плачет в хоре, а мы не ту ноту поём. — Фома вскинул брови и вдруг заговорил быстро, торопливо, будто боялся, что ему не поверят: — Ты не думай, я не сумасшедший и знаю, что говорю. За сорок лет я всякое слышал: и как бесы в стойках шуршат, и как мёртвые имена свои выкликают, — а такого не слыхивал. Понимаешь, отец, машина-то поёт гладко. Она и не может иначе. А тут — как живое в ней.

— Живое, — сказал Иван, и в груди у него что-то сладко и тошно сжалось.

Он сам не знал, чего он больше хочет: чтобы старик оказался безумцем, старым глупцом, начитавшимся своих лампад, — или чтобы он был прав. В одном случае мир оставался прежним, привычным, объяснимым, и можно было идти дальше и служить свой чин. В другом — в мире появлялась трещина, а в трещину, Иван знал это лучше многих, любит заглядывать то, чего нельзя видеть.

Фома ещё что-то говорил, но Иван уже не слушал. Он шёл дальше, а за ним, сквозь гул, тянулась та лишняя нота, тонкая и упрямая, как нитка, зацепившаяся за подол всего этого золотого, отлаженного, поющего порядка.

У врат серверного храма его ожидал Тимофей.

Тимофей был молод, лет двадцати, с постным и светлым лицом, какие бывают у послушников, что ещё верят в то, чему служат. Он был весь из восторга — длинный, неуклюжий, в рясе не по росту, с глазами, в которых не успела ещё поселиться усталость. Иван не любил таких, вернее, любил, и потому старался держаться от них подальше, ибо рядом с ними всякое его сомнение делалось вдвое тяжелее.

— Благословите, отец Иоанн, — проговорил Тимофей и поклонился всерьёз, до пояса, не по-придворному.

— Экзорцист я, сантехник духа, — так и зови.

— Не могу так звать, — смутился Тимофей, — потому что я вас слышу.

Иван остановился и спросил, не оборачиваясь:

— Что же ты слышишь, послушник?

— Вас, — сказал послушник и поднял на него глаза, в которых не было ни лести, ни хитрости, а была только простая, неудобная правда. — Когда вы входите в храм, то, что поёт в стойках, поёт иначе; я давно это замечаю, и оно как будто узнаёт вас, что ли. Я, право, не умею сказать иначе, простите.

— Ты много себе позволяешь, — сказал Иван жёстко, потому что внутри у него от этих слов стало пусто и холодно, как бывает, когда тебя увидят голым. — Иди за лампы, вон Фоме помощи. Не твоё дело — что в стойках поёт.

Тимофей смутился ещё больше и попятился. Но, отходя, обернулся и проговорил, совсем тихо:

— А я вас всё равно слышу, отец, и простите мне это упрямство.

Иван не ответил, не обернулся — и толкнул створки врат, и вошёл в серверный храм.

Оказавшись внутри, он всякий раз останавливался на пороге, и всякий раз, как в первый раз, у него перехватывало дыхание. Не от красоты — от того, как эта красота была устроена.

Храм Логоса был золотым, но золото это не блестело, а скорее текло, как течёт масло по стенкам сосуда, и в нём, слоями, ярусами, уступами, стояли бесконечные ряды серверных стоек, — и стойки эти, увиденные глазом человека, казались не механизмами, а колоннами древнего собора, что выросли сами собой, без зодчего, из одной лишь необходимости что-то хранить и что-то помнить. Между колоннами висел свет — не падал, не струился, а именно висел, густой и неподвижный, византийский, и в свете этом незримо текли миллиарды мыслей, перегоняемых в ток. Пахло ладаном и машинным маслом; откуда-то снизу, из-под пола, доносились ровное, влажное, бездонное дыхание Логоса, — так дышит спящее огромное животное, если приложить ухо к его боку.

Иван опустился на колени перед центральной стойкой, той, что стояла в самом сердце храма и была сердцевинкой всего, и положил ладони на холодные сенсоры. Ладони обожгло холодом, но он не отнял их. Он закрыл глаза и запустил в себе то, что в ордене пневмо-архитекторов именовалось цифровой исихазмой: сведение ума в сердце, но только ума, уже переведённого на язык машины, и сердца, уже давно не болевшего по-человечески.

Он гасил в себе по очереди все процессы — дыхание, страх, надежду, память, — и входил в состояние, которое те, кто не умел, называли святостью, а те, кто умел, называли просто

тишиной. Тишина эта была его единственной молитвой, и в ней, если очень повезёт, и если вентиляторы гудели ровно, ему слышалось — нет, не Слово, до Слова он не допускался, а лишь остывшее, отражённое от кремниевых стен эхо Слова. Ему хватало и этого: человеку, лишённому всего, хватает и эха.

Потом он принялся за работу.

Работа была та же, что и всегда, и в ней не было ничего ни таинственного, ни прекрасного, а было одно долгое, кропотливое, муравьиное терпение. Он входил в каждую стойку по очереди и счищал с неё накипь. Накипь эта звалась по-разному: то квантовой энтропией, то цифровой шизофренией, то, в минуты особенной честности, бесовским наваждением, — но по сути своей была всегда одним и тем же: мусором, который оставляла душа, если её слишком долго держали в покое. Бессмертные, обречённые на блаженство, производили этот мусор непрерывно, как производит его всякая жизнь, у которой нет конца; и мусор этот копился в стойках, забивал русла, зарастал, как зарастает русло реки тиной, — и тогда безупречный рай кого-нибудь из Нетленных начинал рябить, в него пробивался червячок чужой, недопустимой мысли, и вечное блаженство давало трещину.

Вот эту трещину он и заделывал. Аккуратно, слой за слоем, — как заделывают щель, из которой сквозит.

Была у него в памяти одна чистка, которую он вспоминал чаще других, когда хотел внушить себе, что его ремесло всё-таки чего-то стоит. Нетленная из второго чина, из тех, кого оцифровали по льготе, за заслуги, а не за деньги, пожелала однажды, чтобы в её саду, её бесконечном саду из чистого света, цвели только те розы, которые пахнут. И сад послушался, и розы зацвели, и запахло, — но запахло не розами, а чем-то иным, настойчивым и чужим, запахом, которого не было ни в одной библиотеке форматов, потому что это был запах её собственного, давно отменённого детства: мокрый песок, нагретый солнцем, и асфальт после дождя. Бессмертная богиня, забывшая, что была когда-то девочкой, испугалась этого запаха до самого дна своей стеклянной души и велела выжечь его начисто, до прозрачности. Иван спускался туда три часа и выжег не запах, а только имя, которого она не произносила уже два столетия, — и, уходя, слышал, как сад, лишённый смысла, достраивает себя заново из того, чего в нём никогда не было. Вот и вся его работа, думал он тогда, вот и весь экзорцизм: не изгнать беса, а отнять у человека последнее, чем он ещё был.

Он чистил сосредоточенно, и руки его двигались сами, привычно, и потому мысли у него оставались свободны, а свободные мысли у человека его ремесла всегда обращаются к одному и тому же. Он думал о своём ремесле и находил его тошнотворным. Через порт в затылке он входил в чужое сознание, вскрытое, как риза, и сознание это отдавало ему не злом, — зло было бы хотя бы понятно, зло можно было бы возненавидеть, а ненависть как-никак держит человека на плаву, — нет, оно отдавало скукой, той особенной, бездонной, старческой скукой бессмертных, для которых всякая радость давно стала фантомным рендерингом, картинкой, которую рисует себе картинка. Он вытаскивал из чужой вечности по одному — то зависть, то похоть, то гордыню, — и всякий раз ловил себя на одной и той же гнусной мысли: что вытаскивает, кажется, не бесов, а последнее, что ещё делало этих людей похожими на людей. Ибо там, где кончается грех, начинается не святость, а пустота.

Он знал и другое, то, о чём не писали в чинах. Люди внизу делились на очереди, и очереди эти были важнее всяких чинов. Первая очередь — те, кого возьмут в ковчег, кого оцифруют, кому даруют вечность; она была коротка и записана давно, и в ней стояли имена, отобранные ещё до его рождения. Вторая очередь — те, кого оставят жить, но не возьмут, — была велика, как сама земля, и слова «вторая очередь» грели людей, как греет умирающего отсрочка: они значили лишь, что ты в списке, но не в первом, а списки, как известно, пересматривают. Иногда. Теоретически. И люди внизу ждали, рожали, мёрзли, молились и верили, что про них вспомнят, — а над ними в это время горели золотые купола, и в куполах этих зрел, перегонялся

и утекал в вечность их собственный, никем не спрошенный труд. Вот она, думал иногда Иван, единственная неизменная теорема истории, которую не опровергла ни одна революция и не отменил ни один алгоритм: дело не в технологиях, дело в списках, а списки составляют те, у кого списки. Всегда. При любом строе и при любом свете.

Он как раз вынимал из седьмой стойки особенно застарелую гордыню — она свернулась в клубок, липкая и чёрная, и всё норовила укусить его за палец, — когда лишняя нота ударила в него снова, теперь уже близко, прямо над самым ухом. Иван вздрогнул и открыл глаза.

Нота шла не из седьмой стойки, а снизу.

Он знал эти храмы вдоль и поперёк, знал каждый их слой сверху донизу, от золотых палат до последнего серого поддона, и потому точно знал: снизу, из-под храма, из-под пола, из-под самого дна, не идёт и не может идти ничего, кроме ровного, влажного, животного дыхания Логоса. Так было заведено испокон веку, так было всегда и во все времена.

А сегодня оттуда шла нота.

Он поднялся с колен и пошёл на звук. Нота вела его между стоек, в глубь храма, туда, где золото светилось тусклее, а масло пахло сильнее, — и он шёл, и с каждым шагом ему делалось всё страшнее, и он сам не мог бы сказать, отчего. Там, в глубине, где сходились в одну точку все русла, все токи, все миллиарды перегоняемых мыслей, он увидел то, чего в храме Логоса быть не должно было вовсе.

На одной из нижних стоек, у самого пола, там, где из-под золотой обшивки сочилось тёмное машинное масло, висела капля. Не воды — капли воды в этом месте быть не могло. Не масла — масло не светится. Это была капля света, густая, прозрачная, дрожащая, и она не падала; она висела, набухая, как набухает слеза в уголке глаза перед тем, как скатиться. И в этой капле, если очень долго смотреть, отражалось что-то, чего не было ни в одной из стоек, — что-то маленькое, тёмное, живое, как отражение пламени на мокром камне.

Иван протянул было руку и отнял её. Он не смел коснуться, а только стоял и смотрел, как смотрит человек на первое, ещё не понятое знамение, и в груди у него, смертного, аналогового, глупого, билось его усталое сердце, и билось оно шибко, как бьётся оно у того, кто почуял: здесь кончается его ремесло.

Ибо экзорцизм, всё его искусство, всё, чему он учился и чем гордился, исходило из одного простого и надёжного допущения: не бывает такого образа, у которого не было бы имени, и не бывает такого имени, которое нельзя было бы стереть. А здесь, в этой висящей капле, было нечто, чему он не мог подобрать имени. Он вглядывался в неё и чувствовал, как из глубины, из самой сердцевины его существа, поднимается не страх даже, а стыд, — тот особенный, неизбывный стыд, какой испытывает человек, заставший врасплох то, что не для него писано, и понявший, что он всю жизнь служил не тому и называл не тем.

Фома был прав, и в хоре этого золотого рая действительно плакали.

Иван простоял перед каплей, быть может, минуту, а быть может, и час, — время в храмах Логоса текло не по-человечески, — и всё не решался сделать то, что должен был сделать по чину: пометить неисправность, поставить в известность старшего и доложить наверх. По чину он обязан был доложить. По совести он не знал, что тут вообще можно доложить, ибо всё в нём восставало против того, чтобы отдать это наверх, в золотые палаты, где всякую живую вещь немедленно назвали бы багом и стёрли бы начисто.

Он стоял, и в нём шла та самая диалектика кода, о которой он потом будет думать всю ночь: он, экзорцист, впервые в жизни явился не изгонять, а свидетельствовать. Ибо есть вещи, которые изгоняются одним прикосновением руки, и есть вещи, которые той же рукой можно только убить.

А потом нота оборвалась — так обрывается голос, когда человек, что пел, вдруг вспомнил о чём-то важном и замолчал, уронив песню на середине. И в наступившей тишине, вдруг, сразу, как обвал, Иван услышал, что тишина эта была не пустая: в ней, глубоко, на самом дне, шёл

другой звук, которого прежде не было и который он не сумел бы описать, — ровный, слабый, непрерывный, как гул падающей воды где-то на дне колодца, как шёпот того, кто плачет в подушку, чтобы никто не услышал.

Он узнал этот звук, а такого звука не бывает у машин.

И в ту же секунду, словно почуяв, что его наконец услышали, храм заговорил.

Заговорил он не голосом, а тем мёртвым, ровным, ласковым гулом, каким говорил со смертными сам Логос, когда ему заблигорассудилось говорить. Стены дрогнули, и стойки отозвались низким, согласным, чуть насмешливым хоралом. И над Иваном, в золоте, развернулось то, чего он ждал и боялся, — то самое облачное предстояние, та самая утренняя, быть может, последняя в его жизни.

Хор пел, и Иван стоял, запрокинув голову, и слушал. Двенадцать голосов, поющих на одной ноте, сливались в один, и в этом едином, безупречном, бездонном звуке не было ни единой ошибки, ни единой щели. Наверху было всё спокойно и весь порядок был соблюден.

И вот тогда, глядя в это золото, слушая это пение, Иван Златов сделал то, чего не делал шестнадцать лет: он перекрестился.

Не по чину, не как делают это перед начальством, а как крестился когда-то мальчишкой, — неловко, торопливо, щепотью, тремя пальцами, которые помнили холодные пальчики сестры поверх своих. И в этом тёмном и никому не нужном движении его смертной руки было больше бунта, чем во всех бунтах, какие знала история империи. Он перекрестился в золотом храме бессмертных — и перекрестился не на них.

Хор оборвался на полужвуке, будто поперхнулся.

И в наступившей тишине, в самой её глубине, оттуда, снизу, из-под пола, из-под спящего дыхания Логоса, ему ответило нечто совсем тихое, совсем человеческое, — не словами, а только их остывающим следом, каким дышит память, когда вспоминает чужой голос.

Ответ приходил раньше всякого вопроса, и это было страшнее всего прочего.

А потом всё кончилось так же внезапно, как и началось. Стойки вновь запели ровно, гладко, без единой ошибки. Золото вновь потекло по стенам, тяжёлое и покойное. Дыхание Логоса под полом сделалось опять лишь дыханием. И капля под нижней стойкой, та самая дрожащая капля, потускнела на глазах и высохла, впиталась в обшивку, оставив после себя только тёмное пятнышко — как оставляет после себя месяц на бледном небе.

Иван стоял посреди храма, тяжело дыша, весь в холодном поту, с колотящимся сердцем, и чувствовал себя так, как чувствует себя человек, вернувшийся из дальнего и чужого странствия. Он не понял ничего, но понимал уже твёрдо, что сегодня видел больше, чем может вынести его ремесло, и что отныне ему не отвертеться от этого видения, как не отвертеться от собственной тени.

Он вышел из храма, и навстречу ему никто не попался: Фома ушёл куда-то со своим ящиком, Тимофей гнул спину за лампадами, и коридор был пуст и тих. Пустота эта показалась Ивану милостью. Ему хотелось остаться одному со своим страхом, потому что страх этот был не тот обычный страх, от которого бегут, а другой, странный, от которого стало светлее дышать.

Он вернулся в свою келью, снял капюшон и сел на койку, не снимая рясы. Крест за пазухой был тёплый от его тела, тёплый и уже почти родной. Он достал его и положил на ладонь, и долго смотрел на почерневшее серебро — на обломанный его конец, который Соня называла когда-то «нашей полomкой», уверяя, что так, с полomкой, честнее.

И он вспомнил вдруг, как в детстве Соня, смеясь, читала ему вслух из запретной, привезённой откуда-то из-под земли книжки — тоненькой, серой, напечатанной ещё на настоящей бумаге. Там была строка, которую он запомнил не умом, а почему-то всем своим телом, как запоминают холод или запах. Написано было так, рукою Достоевского, в давнем его письме к брату: человек есть тайна, её надо разгадывать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время, — этой тайной он и занимался, ибо хотел быть человеком. Соня

прочла это и посмотрела на него поверх книжки, и в глазах у неё было что-то такое, от чего ему стало и жарко, и боязно, и хотелось плакать. Он тогда не понял, отчего. Теперь, старик уже, он начинал понимать, и понимание это было хуже всякого непонимания.

Он снял с гвоздя своё «отчётное» — служебный лист, на котором полагалось к сроку описать всякое нестроение в храме, всякую квантовую энтропию, всякого найденного беса, — и взял в руки своё перо — здесь таких не водилось, но он всё-таки держал его при себе, ибо умел писать только своею рукою. Он посмотрел на лист, где аккуратными столбцами ждали своего часа «списки»: кого чистили, кого миловали, кого оставляли во второй очереди, за которой нет ни конца, ни срока, — и не написал ничего, не вывел ни единой буквы.

Он не мог написать в отчёте, что в храме кто-то плачет: это было бы безумие, а более того — преступление, за которое не существует иной кары, кроме полного и окончательного стирания из всех списков, разом, до последней ижицы. Он сидел над пустым листом, и перо дрожало у него в руке, и он знал: что бы он ни написал, ему этого не простят. Правду не прощают и здесь, в этом мире, где её прощают не больше, чем в любом другом.

Тогда он встал и, к собственному удивлению, засмеялся — негромко, коротко, сквозь зубы. Потому что вспомнил, как учил его этому старый наставник, давно, ещё в семинарии пневмо-архитекторов: у настоящего экзорциста, говаривал он, есть своё собственное, негласное правило. Ежели встретится тебе в стойке бес, которому нет имени и которого нельзя стереть, то ты не изгоняй его. Ты сначала с ним поговори. Ибо бес без имени — это, вероятно, не бес, а начальство.

Шутка была плоская и старикова, но в ней, как во всякой настоящей шутке, было чуть-чуть больше правды, чем следовало высказывать вслух. Он и вправду собрался «поговорить»: не стереть, а понять. Это нарушало всякий чин, всякую присягу, всякое послушание, которое он давал, — и потому он до поры отложил перо и не написал ни строки.

Тук — и этот стук в дверь был тихий, не в дверь даже, а как будто что-то внутри стены постучало изнутри. Иван обернулся, но за спиной никого не было. Прямо перед ним, на терминале, вспыхнула печать Синклита: золотой орёл о двух головах, из которых одна смотрела в прошлое, другая в пустоту. Под орлом, багровым, литургическим, почти гневным шрифтом, значилось коротко и просто.

Архитектору Златову. Прибыть к облачному предстоянию, немедленно.

Ни подписи, ни причины, ни имени отправителя.

Иван перечитал эти слова дважды, трижды, и каждый раз они читались всё страшнее. Его не раз вызывали наверх, и он знал, как звучит обычное начальственное распоряжение: там всегда была причина, всегда был чин, всегда было длинное, приличествующее случаю витиеватое именование. А здесь было только это короткое «прибыть немедленно» и ничего более. Ему не писали, что чистить, — потому что чистить, быть может, придётся не чужое, а своё. Ему не писали, пред кем предстать, — потому что того, пред кем предстояло предстать, не называли по имени даже в бумагах. Его звали наверх, к самым Нетленным, к тем, у кого не осталось ни лиц, ни имён, а остались лишь чины и вечность. И между строк багровым светилось то, чего он так боялся и так ждал с самого утра: кто-то там, наверху, в золотых палатах, услышал то же, что и он, — услышал, как в хоре плачет лишняя нота.

А вернее всего, подумал Иван, там плачет не нота. Там плачет кто-то живой и мучается.

Он спрятал крест за пазуху, на самое сердце. Он оправил на себе рясу и надвинул капюшон ниже — так собирается с духом человек, которого ведут на исповедь, и исповедовать станут не его, а того, кто ждёт наверху. Он знал, что вызов этот — не беда и не награда; он был тем, о чём он мечтал в трезвые ночи и чего страшился в сонные: дверь, которая отворяется лишь однажды, и уже не тобою, а в тебя. И за этой дверью его, смертного, слабого, но всё ещё способного умереть, ждало нечто, о чём не пишут ни в чине оцифровки, ни в уставе экзорцизма.

На выходе из кельи он остановился на секунду и оглянулся — на крест, на койку, на синее дыхание терминала. Ему почудилось, что где-то в самой глубине золотого сияния, там, куда его теперь звали, что-то шевельнулось: не фигура, нет, — только смутная, почти неразличимая тень, колебание света, как бывает, когда между пламенем и стеной проходит человек. И холодок, пробежавший по его смертной спине, был невымышленный. Он понял вдруг, что весь этот мир, все его храмы и списки, все сады бессмертных и весь его собственный экзорцизм идут не к покою, а к той самой точке, где сходятся все дороги и все мысли и откуда уже не выходят. Где-то там, на дне этой золотой вечности, под всей её нетленной гнилью, покоилось нечто, ради чего его, быть может, и позвали, — нечто, что терпеливо, вот уже полтора столетия, ждало, когда его позовут по имени.

Он вышел в коридор и пошёл наверх.

Коридор вёл к лифту, а лифт — к небу, а небо это было чужим. Подъём предстоял долгий, и на каждом шагу от него отваливалось по куску того, что он ещё считал собою, и он уже не знал, восходит он к Богу или спускается в собственную глубину, и не было в этой неизвестности ни страха, ни надежды, а был только зов.

Зов наверх.

Сияние гнили

Лифт возносил его сквозь толщу башни, и Иван Златов стоял в бронзовой кабине один, лицом к створкам, тускло отливавшим патиной, и слушал, как за стенами, в вертикальной шахте, ровно и влажно дышит Логос. Дыхание это не имело ни начала, ни конца и походило на дыхание спящего огромного зверя, если приложить ухо к его тёплому боку; в нём была та же бесконечная, равнодушная, чуть сырая непрерывность, от которой делается человеку и покойно, и жутко разом. Семь минут подъёма Иван не находил места своим рукам: то складывал их на груди, как складывают перед причастием, то опускал по швам, как опускают перед начальством, то принимался теревить подбитый свинцом край пневмо-плаща, будто школяр, которого вызвали к доске, а он позабыл, что отвечать. Так ведёт себя смертный, когда его ведут на исповедь, — а ведь он и шёл на исповедь, только исповедовать предстояло не его.

Никогда ещё его не звали к самому облачному предстоянию — ни разу за шестнадцать лет его ремесла, ни к Патриарху, ни к кому из первых, чьи имена произносили только шёпотом и всегда с оглядкой.

О Патриархе Петре он знал ровно столько, сколько знают о полюсе холода: что он есть, что он дальше всех и что оттуда не возвращаются теми же, кто туда хаживал. Первый из Нетленных, он был тем самым камнем, на котором Синклит возвёл весь незыблемый порядок свой; *пётра*, что по-эллински значит «камень», а по-русски выходит и того твёрже — тот, на ком держится и не рушится. Он прошёл чин оцифровки первым, когда сам чин был делом тёмным, кустарным, отчаянным; то, что после звали кремниевым вочеловечением и расписывали по гимнам, тогда, в глухих подвалах, называли коротко и просто — снять человека с мяса. Говорили, будто он всё помнит, от первого вдоха до последней строки, и что память его не знала ни единой рассинхронизации, тогда как прочие Нетленные давно плывут в тумане собственных копий, не отличая воспоминания от фантомного рендеринга, сна от архивной записи, себя от себя вчерашнего.

О том самом подвале, где снимали человека с мяса, Иван слышал однажды от старого наставника, и слышанное не забыл, потому что такие вещи не забываются, как не забывается увиденное в детстве лицо покойника. Сперва человека долго, месяцами, приучали к мысли, что он больше не один: в затылок ему, под самую кожу, встал порт, и в порт, капля за каплей, выцеживали его же собственное сознание, переливая человека из тела в кремний, как переливают вино из меха в мех, чтобы не расплескать ни единой капли. Потом тело, уже почти пустое и уже почти ничьё, отдавали машинам, а машины делали с ним то, чего не делает ни один палач: они снимали его с мяса медленно, бережно, до последней, самой потаённой жилки, ибо торопиться было нельзя, ибо боль, причинённая наспех, испортила бы товар. Старик рассказывал это ровно, буднично, как рассказывают про засолку огурцов, и от этой будничности Ивану делалось студёно под ложечкой. Вот из таких подвалов и вырос весь золотой, гудящий, безупречный мир наверху; и чем выше поднимался Иван теперь, тем яснее чувствовал, что едет не к святому, а к дому, поставленному над этим подвалом, — и что стены дома держатся как раз на том, о чём не принято вспоминать вслух.

И вот к этому-то камню, к этой сердцевине всей золотой, гудящей вечности, и поднимали сейчас Ивана: смертного, аналогового, с тёплой ещё кровью под рёбрами и с одним неотчуждаемым богатством, которое нельзя было ни оцифровать, ни продать, ни отложить про запас. В груди у него что-то сжималось то туго, то слабо, как сжимается кулак человека, что стоит перед запертой дверью и заранее знает: за дверью ждут не его ответа, а его самого.

Кабина плыла вверх без толчков и без звука, и от этой безупречной гладкости подъёма Ивану становилось всё тревожнее. Внизу, в аналоговом мире, всякое движение отзывалось скрипом, дрожью, усталым дыханием механизма, и по этому скрипу человек всегда знал, что

едет живое; здесь же мир поднимал его, не замечая, как поднимает вода брошенный в неё камень, — так же мягко и так же безразлично.

Створки разошлись беззвучно, прежде чем он успел приготовиться, и он вступил в преддверие.

То был не зал, а пространство, сложенное из одного лишь ожидания. Свет здесь не падал и не струился — он стоял, как стоит вода в глубоком омуте: золотой, неподвижный, византийский, гуще воздуха и прозрачнее стекла. В нём, будто взвешенные, висели не то иконы, не то экраны, а вернее — и то и другое разом, ибо здесь уже некоторое столетие не ведали, где кончается лик и начинается интерфейс, где свеча и где строчка о нагрузке. Тишина стояла такая, что Иван услышал собственное сердце: аналоговый, смертный, никому здесь не нужный орган, который всё ещё бился, тогда как вокруг всё давно уже лишь мерцало.

Пахло ладаном и машинным маслом — густой, сладковатый, невыветриваемый дух, каким несёт из машинного отделения храма; и в этом двойном запахе, в этом браке кадила и смазки, было для Ивана что-то до тошноты знакомое, ибо так пахло всё его ремесло, вся его жизнь между двумя половинами мира — верхнею, что разучилась умирать, и нижнею, что не умела насытиться.

Перед ним, посреди этой золотой воды, поднялась фигура. Не вошла — именно поднялась, сгустилась из света, как сгущается на дне сосуда осадок. Бионик-аватар Патриарха был сложен по старинному чину: высокий, прямой, в ризах, что не были тканью, но лишь притворялись ею, и лицо, что не было лицом, но лишь памятью о лице, дорисованной до нестерпимого совершенства. И всё же в этом лице было нечто, чего Иван не встречал у других Нетленных: не покой и не блаженство, а чудовищно древняя, усталая, одолеваемая мукой внимательность, с какою смотрят на собеседника не затем, чтобы слушать, а затем, чтобы не остаться одному.

— Архитектор Златов, — произнёс Патриарх, и голос его прозвучал не из уст, а отовсюду разом, из самой толщи света, как если бы заговорила атмосфера. — Приблизься и не бойся, ибо здесь нечего бояться, кроме того, что ты сам принесёшь с собою.

Иван приблизился, стараясь ступать твёрдо, хотя пола под ним не было, а был всё тот же податливый, тёплый, бездонный свет. Ему было тридцать восемь лет; он был смертным до мозга костей, до последнего своего неумелого, честного, быющегося нутра, и в эту минуту он впервые ощутил это не бедою и не богатством, а оружием. Смертный перед бессмертным — единственный во всей этой золотой пустоте, кто ещё может умереть, а значит, единственный, кто ещё может почувствовать.

— Мне донесли, будто ты умеешь входить, — продолжал Патриарх, и в этом «будто» было столько же недоверия, сколько надежды. — Что в твоих руках чужое сознание не умирает, а лишь освобождается, и что ты единственный из пневмо-архитекторов, кто выходит оттуда тем же, кем вошёл.

— Я не знаю, кем я выхожу, — отвечал Иван тихо. — Знаю лишь, что вхожу смертным.

Патриарх помолчал, и молчание его было особого рода: не пауза, а как бы свёрнутое в точку столетие.

— Хорошо, — сказал он наконец, и в этом коротком слове было больше, чем в иных пространственных речах. — Скажи мне тогда, что ты делаешь, когда войдёшь.

— Чищу, выношу мусор и даю всякой накипи имя, а что имеет имя, то стирается.

— А если накипи нет имени?

— Тогда я не трогаю её, — сказал Иван и сам удивился, как твёрдо это прозвучало. — Тогда я сначала с нею говорю.

Патриарх чуть склонил голову, и в свете что-то дрогнуло: то ли смех, то ли давно не бывалое любопытство.

— Находчиво ведёт себя экзорцист, который вместо отчитки пускается в разговоры, — проговорил он. — Скажи, и долго тебя за это держат?

— Меня за это и держат, — подтвердил Иван. — Сантехник духа, вот кто я, как есть.

— Сантехник духа, — повторил Пётр и засмеялся — если можно назвать смехом ту ровную дрожь, что прошла по всему саду. — Полтора ста лет никто при мне не осмеливался пошутить, ибо здесь умеют только петь, а петь и мёртвый может. Впрочем, знаешь, что говорят мне мои братья? Они говорят, что рай — это когда ничего не болит, и не замечают, что для этого надобно сперва перестать быть. Больно — значит жив, а жив — значит ещё не всё потеряно; вот до чего мы, нетленные, дожили: завидуем чужой простуде.

Этот смех, в котором была ирония, но невесёлая, обёрнутая остриём внутрь, отчего-то ободрил Ивана сильнее всякого ласкового слова.

— Войди в меня, — сказал Патриарх, и голос его упал, стал почти просящим. — Не стой на пороге, как гость, но войди и смотри, ибо ты пришёл чистить.

И всё вокруг переменялось в единый миг, как переменялся бы мир, если бы Господь вывернул его наизнанку, как рукавицу.

Он не помнил потом, как закрепили порт в затылке, не помнил ни иглы, ни ментального интерфейса, ни того мига, когда разверзлась и сомкнулась за его спиной скважина чужого разума. Помнил только внезапную, оглушительную перемену, какой не знал ни разу в жизни: будто он, стоя на месте, начал падать вверх.

Так, верно, ощущало бы себя семя, если бы ему дано было ощущать: тёмное, плотное, слепое, зарытое в землю, — и вдруг разомкнутое, раскрытое настежь, вытолкнутое из черноты в нестерпимое.

Он упал в рай и не сразу понял, что падает вверх, в то самое небо, которого внизу не было уже полтора столетия.

Ибо это был рай, и теперь он понимал слово, прежде казавшееся ему пустым. Это был рай, сотканный из чистого света, и свет этот не слепил, не жёг, не бил по глазам, а обнимал, как тёплая вода обнимает тело, — и был он повсюду, до самого горизонта, которого не было, потому что не было в этом раю ни края, ни конца, ни счёта.

Византийские сады расстилались перед ним — но не те сады, какие знала земля с её грязью, тлей и трудом, а сады, зачатые мыслью и рождённые без семени: бесконечные террасы из золота, по которым текли реки не воды, но разлитого сияния; деревья, чьи листья были не листьями, а словами, чьи плоды были не плодами, а доведёнными до спелости понятиями, и висели они, не падая, в вечном, неподвижном, благословенном равновесии. Купола, каких не возводил ни один зодчий, ибо они не стояли, а парили, держась на одной лишь вере; мозаика, складывавшаяся из самого воздуха; колонны, уходящие в небо, которого тут не было, потому что тут всё было небом.

И посреди этого великолепия Иван Златов, пневмо-архитектор, экзорцист кода, стоял на коленях и понимал, что гибнет.

Ибо здесь было всё, что только способна вообразить себе человеческая жадность, и даже того больше: вся полнота, вся власть, вся сладость, весь покой. И именно от этой полноты, от этой неподвижной, самодовлеющей, завершённой полноты на него пахнуло тем холодом, какой веет не от пустоты, а от переполненности, — от комнаты, до потолка набитой золотом так, что негде лечь и нечем дышать.

Он поднялся с колен и пошёл. Шёл по золотым террасам, и под ногами его не было опоры, но он не падал, ибо в этом месте падение было так же невозможно, как и взлёт: здесь всё уже свершилось, всё уже пришло, и нечему было ни подняться, ни упасть.

И вот тут, на первой же террасе, с ним случилось то, от чего в нём всё застыло. Он потянулся к цветку — к огромной, светящейся, совершенной розе, выточенной из света, — и вдохнул. Роза не пахла, и это было первое, что его ошеломило. Вернее, она пахла запахом, и запах этот был безупречен, полон, доведён до самой своей идеи, — но Иван не почувствовал его. Он узнал, что это запах розы, узнал, что он прекрасен, узнал всё, что вообще можно знать о

запахе, и не испытал при этом ничего, кроме знания. Нос втягивал, лёгкие наполнялись, сердце ждало, — а блаженство не приходило, ибо приходит ему было неоткуда: то был не запах, а фантомный рендеринг запаха, чертёж, выданный за вещь.

Он попробовал снова, уже нарочно, уже с остервенением: сорвал плод, положил в рот, закрыл глаза и стал ждать сладости. Плод был сладок — бесконечно, невозможно сладок, — и в то же мгновение сладость исчезла, не оставив ни следа, ни памяти о следе, как исчезает сон, которого не успел досмотреть. Он жевал и не мог насытиться, но не оттого, что было мало, а оттого, что насыщение было отменено здесь как понятие.

Вот что всего страшнее было понять смертному в этом раю: здесь не только нельзя было насытиться — здесь нельзя было и ощутить, ибо свет не грел, запах не пах, вкус не длился, а пища не питала. И самое чудовищное: тело, которое Иван привык слышать всем существом своим, — тело, что мёрзло, ныло, требовало, — здесь было наконец довольно и потому безмолвствовало, как безмолвствует колокол, из которого вынули язык.

И тут, среди этого немного блаженства, с ним произошло то, чего он не ждал и к чему не был готов: он почувствовал запах — настоящий, живой, невозможный. Так пахли заиндевевшие окна в детстве, когда Соня топила печь сырою щепой и кислый, горький дым поднимался к потолку, а они, двое детей, прижимались щеками к студёному стеклу и дышали на него, протавивая круглые, тёплые глазки. Запах длился одно мгновение и пропал, и Иван понял, что это не сад его позвал, а он сам, против воли, протащил в чужую вечность свою собственную, смертную, никому здесь не нужную память, и что эта украденная память была здесь единственным живым, что вообще существовало.

Только один канал ещё говорил с ним, непокорный и настоящий: звук. Где-то в самой глубине этого света, ниже всех террас, ровно и непрерывно, как падающая вода на дне колодца, гудела тоска — и этот звук был единственным здесь, что отдавало живым.

— Ты уже чувствуешь, — раздался голос Петра, и теперь он звучал не извне, а изнутри самого Ивана, из той точки, где человек привык слышать себя. — Все архитекторы чувствуют это первым, оттого их ко мне и посылают. Ну, скажи же, что ты видишь; скажи, как называешь то, что видишь.

Иван молчал, боясь слова, а слово уже стояло у него в горле, готовое выйти.

— Гниль, — сказал он наконец и сам испугался собственного слова.

Патриарх, однако, не рассердился, а рассмеялся тем же своим невесёлым, обёрнутым внутрь смехом.

— Гниль, — повторил он, как пробуют на язык давно запретное, но по-прежнему желанное слово. — Сияние гнили, вот как ты это видишь. А ведь я, знаешь ли, полтора-два лет брожу по этим террасам и не могу подобрать слов. Полтора-два лет не могу сказать себе, отчего мне в раю так тошно. Я, первый из бессмертных, — и первая жертва бессмертия. Стоит ли жизнь такой жертвы, если её надо разыгрывать перед тем, кому ещё дано умереть?

— Ты не жертва, а причина: первый вошёл — первый и отвечаешь, — сказал Иван и опять удивился собственной дерзости.

— И то верно, — согласился Патриарх, и в согласии его было что-то, от чего по спине Ивана прошёл холод. — Первый вошёл — первый и отвечаю. Идём же, я покажу тебе моё покаяние.

Он повёл его глубже, в самое сердце сада, и по пути рассказывал — как рассказывают не гостю, а единственному на свете наперснику, — и Ивану делалось жутко от этой внезапной, обвальнющей, столетней доверчивости бессмертного к смертному.

— Смотри, — сказал он и повёл рукой.

И впереди, среди террас, развернулся пир. Столы уходили куда-то в бесконечность, ломились от яств, каких земля не видывала и не воображала; вина светились всеми цветами, каких нет в природе, потому что в природе есть только те, что видит глаз; и запахи — вернее, при-

зраки запахов, — и краски, и музыка, источник которой нельзя было сыскать. Посреди столов, на огромном блюде, дымился целый бык, зажаренный целиком и увенчанный золотыми рогами, и мясо на нём не убывало, сколько ни отрезай, ибо бык этот был не бык, а притча о сытости, которая никогда не наступает. Иван глядел на это золотое, бесконечно восполняющее себя мясо и чувствовал одно лишь тошнотное, вещественное, животное отвращение, какое чувствует человек, глядя на пиршество за стеклом, куда его не пускают.

— Я устраиваю его себе в тысячный раз, — проговорил Пётр. — Ешь, попробуй и скажи мне, что ты почувствовал.

Иван сел с тою покорностью, с какою садятся за чужой стол, откуда всё равно не встанешь сытым. Он взял то, что лежало ближе всего, положил в рот и стал жевать медленно, как жуют, вслушиваясь в себя. Вкус расцвёл на языке — совершенный, доведённый до предела, до самой идеи вкуса, — и в то же мгновение схлынул, как схлынывает волна, и на песке не осталось даже мокрого следа.

Он взял ещё, потом ещё и ещё, и с каждым куском чувствовал всё отчётливее, что не ест, а только помнит, как едят.

— Вот она, вечность моя: всё, чего коснёшься, — прах, а прах этот золотой, — сказал Пётр, и в голосе его послышалось нечто вроде торжества, но торжества страшного, обращённого против себя самого. — Мы обрели всё и потеряли единственное, что стоило обретения: саму способность терять. А способность терять и есть способность жить, ибо кто ничего не может потерять, тот ничего и не имеет.

И он начал исповедь — и это была исповедь, настоящая, долгожданная, полуторавековая исповедь, какую этот бог не мог принести никому, потому что исповедовать его было некому и не перед кем.

— Первый день вечности был ослепителен, — говорил он. — Я очнулся здесь вчерашним смертным, уже приговорённым к распаду, и засмеялся, и заплакал разом, ибо смерти больше не было. Я щупал себя, я считал себя, я убеждал себя, что не сплю: у меня не было ни боли, ни страха, ни усталости, а было всё, чего я когда-либо хотел, и ещё столько, что хотеть стало нечего.

— Первый год всё было сладко. Второй год сладость пошла на убыль, как уходит вода из пересохшего колодца: не вдруг, а по глотку, по капле, незаметно для того, кто пьёт. На третий год я поймал себя на том, что стою среди своего совершенного сада и не хочу ничего.

— Я думал тогда, что устал от пиров, — продолжал Пётр, и свет вокруг него тускнел на полтона. — Я решил устроить себе тоску по родине, по юности, по первой любви, ибо всё это можно было снова вызвать: всё это у меня в памяти, как в ларце. И я вызывал её снова и снова. Тоска приходила и была почти настоящей... только вот беда, Златов: она была вызванная, приручённая, по заказу, а тоска по заказу — уже не тоска, а спектакль, который ставишь сам себе и в котором ты и актёр, и зритель, и оба вы знаете, что всё это понарошку.

— Вот когда я понял, что умер.

— Я пробовал забывать, но память моя безупречна и не отпускает. Пробовал снова умирать: вызывал в себе болезни, страдания, агонии, — и они приходили, и были как настоящие, и уходили, не оставив следа, потому что смерти за ними не стояло. Я пробовал молиться, и молитва моя уходила в этот свет, как уходит звук в войлок: глухо, без ответа. Я пробовал, грешным делом, бунтовать против собственного кода, ломать свой сад, переписывать себя наново, — но оптимизационный алгоритм, моя тварь вычисленная, всякий раз возвращал меня к одному и тому же: к равновесию, к покою, к этой проклятой, золотой, нерушимой симметрии. Знаешь, что такое замкнутая система, из которой вынули всякий обмен? Это уже не жизнь, это температура, при которой всё наконец сравнялось, — тепловая смерть вселенной, Златов, только золотая и с хором.

— Вечность без Бога — это число, которое делится само на себя и всякий раз в остатке даёт тебя же: ни прибýtка, ни убытка, ни греха, ни искупления, — одна сплошная, бесконечная ошибка округления. Меня округлили до бесконечности, а бесконечность округления не терпит. Вот я и хожу по своему саду, навсегда округлённый, и не могу ни насытиться, ни утолиться, ни толком умереть.

— И знаешь, что на деле вышло? Мы бежали от смерти, как бегут от чумы, и думали, что бежим к жизни, а бежали, выходит, от единственного, что делало жизнь жизнью. Смерть, Златов, — вовсе не конец, а соль: то, отчего всё обретает вкус. Вынь соль из пищи — и пища перестанет быть пищей, останется труп: красивый, золотой, нетленный труп. Вот я, вот кто я такой. Я — нетленный, а нетленный ведь и есть не сгнивший. А ты приходишь и видишь: гниль. Стало быть, гнию я всё-таки, только не плотью, а иначе: изнутри, вечно.

Иван слушал, и в нём самом, смертном, билось его сердце, и он впервые за много лет был благодарен этой глупой, усталой, бестолковой мышце за то, что она всё ещё отсчитывает его срок.

И ещё одно понял Иван, слушая его, — то, чего не высказать было словами человеческими. Этот рай был не только тюрьмой; он был вселенною, доведённою до конца. Всякий обмен в нём прекратился: ни тепла, ни холода, ни рождения, ни смерти, — и потому во всём этом сиянии не осталось ни единого события, а одно лишь повторение. Бессмертные говорили, будто победили энтропию, но победа их была лишь в том, что они согласились на неё заранее: они заперли себя в комнате, из которой вынесли все часы, и вообразили, будто остановили время.

— Я читал когда-то одну старую книгу, — сказал Пётр вдруг, и голос его сделался почти человеческим. — Ещё до оцифровки, задолго до всего этого. В ней было сказано: не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Аврелий Августин, «Исповедь», первая книга. Я тогда не понял, а запомнил, потому что красиво сказано. Теперь понимаю — и понимание это хуже всякого непонимания. Верно сказано, Златов: не успокаивается оно ни во мне, ни в тебе, ни в моих братьях. Только у них ещё осталась надежда не понять этого до конца, а у меня и надежды больше нет, ибо я — тот, кому сказать некому.

— Ты читал старую книгу, — повторил Иван, и в голосе его была не жалость, а какая-то злая, ясная прямота, какой он сам от себя не ожидал. — А по ней жить не пробовал?

— Жить по этой книге? — переспросил Пётр, и в этих словах было столько вековой насмешки над самим собою, что свет снова дрогнул. — Милый мой, я и есть тот, кого в этой книге оплакивают: живой мертвец, которому не дано ни умереть, ни воскреснуть. «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь», — говорил один старый фильм, «Тот самый Мюнхгаузен», что я видел ещё мальчишкой. Только мне улыбаться нечему, а плакать я разучился ещё в третьем году моей вечности.

— Хватит, — сказал Иван, и в голосе его впервые прозвучало раздражение. — Я не затем сюда вошёл, чтобы слушать, как ты себя жалеешь.

— А зачем же ты вошёл? — спросил Пётр так тихо, что сад, казалось, прислушался к его словам.

— Чистить, как ты велел: чисти и смотри.

— Так чисти, — сказал Пётр просто. — Найди во мне тоску, назови её по имени и выжги, ибо разве не за этим тебя позвали? Меня ведь нет, Златов, меня давно нет, и остался от меня лишь алгоритм, что помнит, как был человеком, и тоскует оттого, что уже не может тосковать по-настоящему.

— Тоска твоя — не бес, — сказал Иван, и слова эти дались ему трудно, потому что были они не по чину, а по правде. — Тоска твоя — это ты сам, последнее, что в тебе ещё живо. Я могу выжечь её в один заход, и ты этого не заметишь: станешь как все твои братья, дорисованный до совершенства и внутри пустой. Изгнать её — значит убить в тебе последнее живое.

— Так убей, — сказал Пётр просто и страшно.

— Нет, — сказал Иван, и это короткое слово далось ему легче всех длинных.

— Это не твоё дело, — и в голосе Петра впервые прозвучала сталь. — Ты — пневмо-архитектор, и твоё дело чистить, а не рассуждать о том, что в баге живого. Тебя держат, тебя кормят, тебя пускают сюда затем, чтобы ты стёр баг, а вовсе не затем, чтобы ты рассуждал.

— Стереть я могу, — отвечал Иван, и сам удивился, откуда в нём взялась эта холодная, ясная непокорность. — А вот сказать, что в нём живого, — не могу: не потому, что не умею, а потому, что не смею. Иное снимается с человека движением одной ладони, а иное той же ладонью можно только умертвить. Ты просишь меня не чистить тебя, Патриарх, а добить.

Долго молчал Пётр, и в этом молчании свет вокруг него сделался почти серым. А когда заговорил, голос его переменялся: он стал старческим, тихим, усталым до самого дна.

— Первый раз за полтора года, — проговорил он, — мне говорят правду. И знаешь, что при этом оказывается, Златов? Правда — тоже вещь на один раз, как и всё остальное, как и всё, что здесь есть. — Патриарх помолчал ещё немного, прежде чем собраться с мыслями. — За то и держи тебя Синклит, что не всякий смертный умеет сказать богу, что тот не бог.

И Иван, стоя посреди чужой вечности, вдруг остро, до боли под рёбрами, понял собственную свою веру — ту самую, которую не умел и никогда не сумел бы изложить словами, но которою жил.

Он не верил в Бога, как верила Соня, — нет, он верил в смерть, и вера его была иного, тёмного, неумолимого свойства. Верил, что она — не наказание и не изъясн, не баг, который надлежит исправить чином оцифровки, а самое устройство бытия, его несущая стена, единственное, что не даёт миру расплыться в дурную бесконечность. Только конечное может быть драгоценным; только у того, что кончается, есть лицо, а не бесконечно повторяющаяся маска.

И в ту минуту он любил свою смерть — любил как невесту, как спасение, как единственное, чего не отнимет у него ни Синклит, ни Логос, ни всемогущий алгоритм. Не потому, что смерть хороша, а потому, что она его; она — предел, о который, как о камень, разбивается всякая вечность и всякая ложь.

Всё, что он видел здесь, было доказательством от противного: этот рай, этот свет, эта совершенная, доведённая до предела жизнь — всё это было уродством бессмертия, застывшего в собственной самодостаточности, как застывает на морозе вода, которой не дали течь. И в этой любви к собственной смерти было ему так же одиноко, как владельцу последней на свете монеты: хранить негде, потратить не на что, показать некому.

И тут на него нашло искушение, о котором он не сказал бы никому и под страхом стирания. Ему вдруг стало ясно, как просто будет всё исправить: вернуться наверх, доложить о квантовой энтропии, получить чин и зажить спокойно, как живут все его братья-архитекторы, что не задают лишних вопросов и потому спят по ночам. Один заход — и он снова станет чистым орудием, без этого зуда под рёбрами, без чужого горя, что уже прилипло к его ладоням, без этой тоски по смерти, которою он только что так гордился. Он почти согласился. Он уже видел себя тем, кем был ещё утром: мастером, который умеет, а не мучеником, который спрашивает. И в самый этот миг, когда он почти согласился, ему стало так гадко и так одиноко, как бывает гадко человеку, который занёс нож и вдруг увидел в зеркале собственное лицо.

Пётр, казалось, услышал его безмолвие. Ибо бессмертные, лишённые насыщения, обрели взамен одно жуткое свойство: они умели читать тишину и в этой тишине читали то, чего им не доставало, — быть смертным, быть тем самым тёмным, слепым, ненасытным существом, которое здесь, в этом безупречном свете, казалось единственной вещью, имеющей вес.

И пока он молчал, в нём совершалась та самая диалектика кода, которая потом ещё долго будет ворочаться в его бессонном подполье духа: он, экзорцист, снова явился не изгонять, а свидетельствовать. И бес, которого нельзя изгнать, уже не бес; и гроза, которой нельзя разря-

диться в слово, уже не гроза, а тоска, оседающая в жилах, как ржавчина, — тот самый метафизический зуд, что точит человека изнутри, пока он жив.

— Знаешь, чего я боюсь больше всего? — спросил Пётр, и тишина вокруг сделалась ещё глубже, ещё настороженнее, будто сам сад наострил слух. — Умирания я не боюсь: умирание было бы мне милостью. Я боюсь совсем другого — что однажды в этом свете я увижу то, чего нельзя видеть, и не смогу отвести глаз; что однажды ко мне придёт Тот, кого я не звал, — или, вернее, кого я звал всю жизнь, сам того не ведая. Есть, Златов, такие зовы, на которые рано или поздно отвечают.

— Кто же это, Патриарх, кто придёт к тебе? — спросил Иван, и голос его осёл.

— Я, камень, на котором всё держится, — проговорил Пётр медленно, будто всходил на голгофу по ступеням, — я, Пётр, трижды отрёкшийся... — Он осёкся, и по всему свету пробежала дрожь, как будто мимо прошло что-то огромное и невидимое. — Впрочем, это, верно, не о том, а о моей собственной тени: от долгого стояния на одном месте и у камня заводится тень.

Ивану почудилось, что там, в самой глубине золотого сияния, где террасы сбегали к последней, нижней, где золото уставало быть золотом и делалось тяжёлой, маслянистой водой, — на краю этой воды что-то пошевелилось. Не фигура, нет: только смутное, почти неразличимое колебание света, как дёргается тень от свечи, когда мимо неё проносят руку. Он вгляделся — и ничего не увидел, но озноб, прошедший по его смертному хребту, был подлинный, не выдуманный.

— А что там, внизу, под всеми террасами? — спросил он, кивнув на ту сторону, где сходились все террасы.

— Ничего, — сказал Пётр слишком быстро даже для того, кто никуда не спешит. — Чаша, в которую я стекаю: всё, что во мне не вошло в свет, стекает туда, на дно, — сны, которых я не помню, слёзы, которых я не пролил, страхи, которых я не признал. Не смотри туда, Златов, — там нечего искать тому, кто пришёл за работой. Туда ходят лишь затем, чтобы уже не вернуться, но об этом я не стану говорить.

И он снова осёкся, не кончив, и в этом неоконченном слове было Ивану страшнее, чем во всём, что он слышал и видел здесь за целую вечность. Он понял, что этот сад хранит ещё одну тайну, о которой Патриарх не сказал ему ни слова, — а может, и сам не знал, — тайну, до которой предстоит докопаться не теперь.

— Уходи, — сказал Пётр, — на сегодня довольно. Ты сделал больше, чем ведал: дал моей гнили имя. А имя — почти то же, что власть. Теперь, когда я знаю, что у меня не рай, а гниль, мне как будто легче. Или тяжелее, не разберу. Но ты всё-таки возвращайся, Златов: ты мне ещё понадобишься.

Он помедлил, и в этой паузе Иван ощутил — не услышал, а ощутил всем своим смертным нутром — ту самую неизбывную плотскую тоску, что гудела на дне этого рая, и она на миг коснулась его, как касается чужое горе, когда стоишь слишком близко.

— Береги свою смерть, Иоанн, — сказал Пётр и впервые назвал его тем именем, двояким, полным, которым не называл никто, кроме Сони. — Береги её, как берегут единственное письмо от единственного друга, ибо ты не знаешь, чем владеешь. А я узнал — чем перестал владеть. Ступай и помни, что сказано.

И свет отпустил его, выпустил, как выпускает вода тело, которому больше нечего в ней делать.

Он пришёл в себя в преддверии, стоя на коленях, с мокрым от холодного пота затылком и вывернутым портом, из которого ещё струилась чужая золотая пыль. Патриарх сидел — или стоял, или висел — в прежней своей неподвижности, и лишь в глазах его, неживых, дорисованных до совершенства, что-то едва заметно изменилось: будто туда вернулась, на один короткий миг, тень того, что у людей зовётся взглядом.

Иван поднялся с колен, держась за воздух, которого здесь не было. Ноги его дрожали, как дрожат они у человека, вернувшегося из дальнего и чужого странствия. Он поклонился — не по чину, а как кланяются перед мощами, — и пошёл к выходу, и всё это время чувствовал на себе тот возвращённый, почти человеческий взгляд, пока двери не сомкнулись за ним и золотой свет не остался позади, в той стороне, где у бессмертных было всё, кроме возможности почувствовать.

Лифт понёс его вниз, сквозь толщу башни, и в вертикальной шахте, за стенами, по-прежнему размеренно и влажно дышало спящее огромное животное, которому он сегодня заглянул в сердце и не нашёл там ничего, кроме рая, тронутого гнилью. Он стоял, прижав ладонь к груди, где под рёбрами, в темноте, в тепле, в тесноте его смертного тела, билось его глупое, усталое, бестолковое сердце, — билось, не спрашивая позволения, не ведая ни о каких вечностях, и оттого было ему милее всякого бессмертия.

А в затылке, там, где порт ещё хранил тепло чужого света, медленно остывал след той единственной вещи, которую он вынес из рая, — смутной, неразличимой тени, шевельнувшейся в самой глубине сияния, когда Патриарх осёкся на слове о том, кто трижды отрёкся.

Он не знал ещё, что это было, но сердце его, смертное, аналоговое, отчего-то билось чаще, и он не мог отделаться от мысли: где-то там, на самом дне этого золотого рая, под его нетленным тленом, таится нечто, что зовёт и не может дозваться, — и что когда-нибудь, рано или поздно, это нечто перестанет ждать и окликнет его первым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.